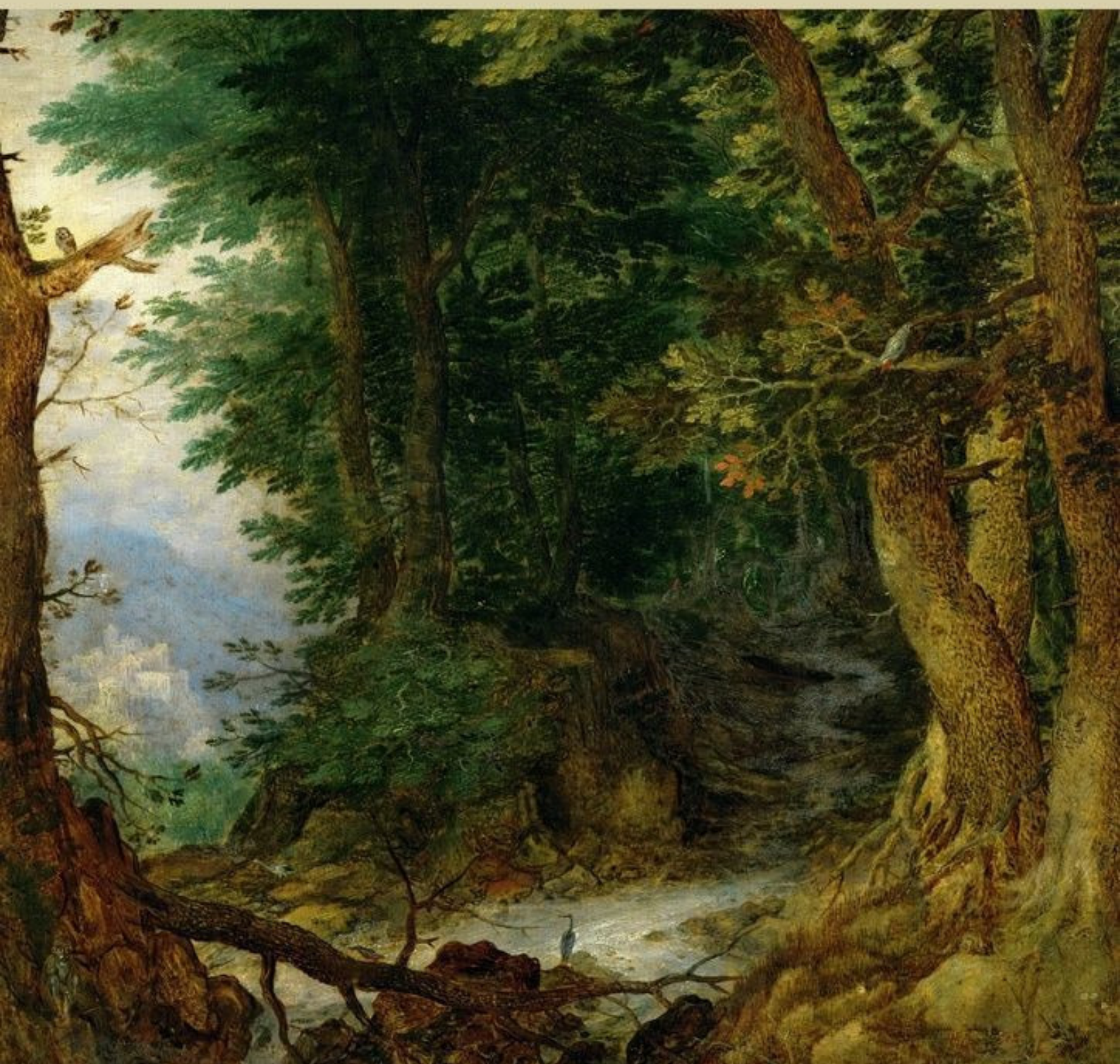
18+

Валерий Казаков

Я, Мара и жена Тамара

повести и рассказы



Валерий Казаков

Я, Мара и жена Тамара. Повести и рассказы

«Издательские решения»

Казаков В.

Я, Мара и жена Тамара. Повести и рассказы / В. Казаков — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-856371-3

В этой книге представлены повести и рассказы о жителях лесных поселков нашей необъятной Родины. О них не говорят с экрана телевизора, не пишут в газетах и журналах. Они не интересуют ни политиков, ни олигархов, но при этом именно их жизнь несет в себе те особенности и те черты, которые могут заинтересовать своей оригинальностью, глубиной и силой искренних чувств.

ISBN 978-5-44-856371-3

© Казаков В.

© Издательские решения

Содержание

Я, МАРА И ЖЕНА ТАМАРА 6
Большая вода 6
Мара 9
Зимние мысли 12
Друзья и враги 14
Карамба 17
Так устроена жизнь 19
Вкус пива 20
Серьёзная женщина 22
Стихия стиха 24
В лесу 27
Вася Рашпиль 30
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Я, Мара и жена Тамара
Повести и рассказы

Валерий Казаков

© Валерий Казаков, 2017

ISBN 978-5-4485-6371-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Я, МАРА И ЖЕНА ТАМАРА
Маленькая повесть

Большая вода

Весной всегда приятно добираться на работу по большой воде. Ещё едва рассвело, безветрие и неподвижность царят кругом, но даже в этом безветрии удивительно далеко разносится запах цветущей ивы, и отражения деревьев в воде кажутся нежно-зелеными, чем-то похожими на уснувшие облака.

Наша лодка несется по водной глади так быстро, что в ушах начинает шуметь ветер. И порой мне кажется, будто проплывет мимо ещё одна зеленая заводь, промелькнет невысокая глинистая круча, и после этого откроется нам вид невредимого русского города, где множество церквей белокаменных, у которых не порушены ни кресты, ни купола. Но вместо этого за очередным поворотом мы видим пологий спуск к реке, заросший белесым ковром мать – и – мачехи, далекую, полуразрушенную каланчу деревенской церквушки, одиноко белеющую на тёмном фоне молодого ельника, да голую, поражающую своей пронзительностью, даль.

Немного погодя наша лодка поворачивает направо, по узкой весенней протоке проносится мимо громадного дуба без листвы, напоминающего скелет динозавра, и как-то неожиданно быстро причаливает к берегу в красноватых зарослях шиповника.

Вот мы и на месте. Сейчас разойдемся по своим участкам и примемся за работу. Будем ставить на сосны железные приемники для живицы, чтобы к тому времени, когда начнут распускаться листья березы, когда появятся на сосновых стволах первые капельки прозрачной смолы, всё у нас было готово.

Михаилу Ивановичу хорошо. Его участок вытянулся неширокой лентой вдоль берега Пижана – глубокого лесного озера, которое в весеннюю пору чем-то напоминает реку. И вздымщиком он работает уже много лет. Ко всему привык, с дикой природой сросся душой и сейчас в лесу чувствует себя, как рыба в воде. Да и вид у него солидный. Он высок, сутул, худощав, от природы жилист. Лицо у него всегда кажется немного бледным, но это вовсе не отпечаток слабого здоровья, а скорее признак душевного спокойствия, потому что Михаил Иванович может за день пройти километров двадцать и при этом не почувствует никакой усталости.

У другого моего товарища, Николая Васильевича, ничем не примечательного сорокалетнего мужика, лесной участок – рядом с заливными лугами. Сосны там, хотя и кажутся громадными, но стоят очень редко и поэтому не создают ощущения чащи. Под ними на высокой песчаной гриве растет густой беломошник, да кое-где разбросаны синеватые копны можжевельника. В общем, ходить по такому лесу – одно удовольствие.



А мой участок – в медвежьем углу, за болотистой поймой. Он расположен довольно далеко от того места, где мы оставляем лодку. Половина его раскинулась на бугре, а другая половина – в широкой низине, которую ранней весной затопляет мутная талая вода. Я хожу по этой низине в болотных сапогах, ставлю на сосны приемники, боясь оступиться в какую-нибудь промоину, и всё время с опаской поглядываю по сторонам, прислушиваюсь к каждому шороху. Это потому, что лес в низине смешанный, наполовину еловый. Под его мрачными кронами даже в солнечные дни бывает сумрачно. В этом лесу всё время что-нибудь происходит. То падают в воду старые, давно раскрывшиеся шишки, то с шумом обрушиваются сухие деревья, то птицы какие-то резко вскрикивают над самой головой… А не так давно выбежал из чащи прямо на меня громадный тёмный лось. Увидел человека – замер на долю секунды, а потом шарахнулся в сторону с таким треском и шумом, что душа у меня ушла в пятки. После этого я сразу вспомнил о Михаиле Ивановиче. У него в будке под ветхим сиденьем запрятан старый винтовочный обрез, доставшийся ему от деда – кулака. Когда Михаил Иванович замечает в лесу что-то неладное, он берет обрез с собой и носит, заткнув за пояс, как настоящий разбойник. У Михаила Ивановича есть обрез, у Николая Васильевича – собака, а у меня нет ничего, кроме хорошего слуха да внимательных глаз. Правда, и вздымщиком я работаю только первый год. Не привык ещё к одиночеству. И тишина лесная меня порой пугает, порой настораживает, порой повергает в уныние.

Ну, что это за работа такая – целый день в лесу на комарах, в полном одиночестве, когда тебе едва перевалило за тридцать, и ты вполне можешь заниматься чем-то более привлекательным, более интересным. И ты находишь этому только одно оправдание: в жизни надо всё испытать, всё изведать. Когда-нибудь всё это может пригодиться…

Немного позднее в болотистой пойме я наткнулся на свежие медвежьи следы. На этот раз медведь прошелся по голубому ковру лесных фиалок между продолговатым озером и густыми зарослями бересклета, который уже распустился и зацвел, за одну ночь украсившись мелкими, но яркими оранжевыми фонариками. Следы у медведя были громадные. Он прошел, бесцеремонно пересекая мою лесную тропинку в самой середине. По следам было видно, что медведь

побывал здесь недавно. Буквально несколько минут назад. После этого я весь день испуганно оглядывался на каждый, едва уловимый шорох у себя за спиной и с тоской мечтал о собаке. Только сейчас я понял, для чего нужна собака в лесу…

Мара

Недели через две после этого и произошло нечто похожее на чудо…

Помнится, я возился в саду с мотоциклом, откручивал какие-то болты и гайки. Мои руки были в мазуте, спина – в поту, голова – в заботах о каких-то хозяйственных делах. И вдруг я почувствовал, что сзади кто-то осторожно тронул меня за штанину. Я с раздражением оглянулся и увидел возле себя маленькую рыжую и худую собачонку с поникшими ушами. Собачонка виляла хвостом, переступала с лапы на лапу и норовила лизнуть меня в руку. «Откуда ты взялась?» – вырвалось у меня. Я присел перед ней на корточки и погладил рыжую псину по голове. После этого собачонка моментально преобразилась, почувствовала себя счастливой, стала резво вертеться у моих ног и радостно повизгивать.

Мы вместе направились к дому. Я вынес ей поесть, и пока она ела, я не спеша её рассмотрел. Приблудная собачонка была помесью дворняги и гончей. Лобастая, невысокая, излишне поджарая. На вид ей было месяца два – три, но и для этого возраста она, должно быть, порядочно натерпелась в своей бродячей жизни, потому что таких худых и грязных собак мне видеть не приходилось. Признаюсь честно, вначале она мне не понравилась. Как-то не верилось, что из этакого заморыша в будущем может получиться что-либо путное.

Это была сука. Недолго думая, я назвал её Альмой. Тем первым собачьим именем, которое пришло мне в голову… Тогда ещё я не знал, что это имя уже довольно скоро изменится.

Прошло всего несколько месяцев, когда от прежней заморенной собачонки в Альме не осталось и следа. Она на удивление стремительно стала превращаться в красивую умную, светло-рыжую суку.

Каждое утро, как только я выходил из дома, у крыльца меня встречала Альма. Она подбегала ко мне, размашисто виляя хвостом и глядя на меня своими заискивающе-преданными желтоватыми глазами. Весь её вид говорил о том, что она очень рада моему раннему пробуждению и что всегда готова услужить мне как-нибудь. Если в это время на улице, около дома или на пыльной дороге появлялся кто-то чужой, Альма с отчаянным лаем кидалась на чужака, пытаясь, видимо, доказать мне, что я кормлю её не зря, и она при необходимости может разорвать непрошеного гостя на части. Такой усердный у неё был вид. Но я вовсе не хотел, чтобы она становилась грозой деревенских улиц, и поэтому никогда не поощрял её дурных наклонностей. Она же, наоборот, не упускала случая показать себя, проявить инициативу. Правда, её напор никогда не перерастал в неуправляемую агрессию, но уж если она чувствовала, что может как следует напугать, то не отступала.

В конце концов, мне пришлось посадить её на цепь.

На цепи первое время она жалобно и протяжно подвывала, а когда я подходил к ней, униженно ластилась, вымаливая прощения. Полагая, видимо, что её таким образом за что-то наказали. Невыносимо грустно стало смотреть ей в глаза – такие они стали обиженные и недоумевающие, столько в них появилось тоски и разочарования. А как тяжело стало слышать её вой по ночам, когда и без того душа полнится какими-то неясными, но горькими предчувствиями. Ведь осознание жизни по ночам, во вселенском одиночестве – это совсем не то, что мы чувствуем в дневной суете, когда эта самая суета и представляется нам жизнью. Хотя на самом деле, это всего лишь исполнение функции – функционирование. А настоящая жизнь – это короткий промежуток откровения в череде однотонных дней, который делает нас мудрее. Только жаль, что промежуток этот приоткрывается с годами всё реже и реже… Порой мне кажется, что в этом самом промежутке когда-то прошло всё мое детство.

Я человек довольно типичный, без особых задатков и наклонностей. Меня любит жена, но мне порой кажется, что даже она до конца меня не понимает. Она не знает, не догадывается

об этой ночной моей жизни. Зато она прекрасно спит, а погружаясь в домашнюю работу часто что-нибудь напевает, и при этом синие глаза её всегда ясны, как у ребенка, не познавшего взрослых тайн. Иногда мне бывает досадно, что у меня такая жена, иногда я смотрю на неё со снисходительной улыбкой, иногда завидую её спокойствию. И тогда мне кажется, что я сам чего-то не понимаю в этом мире, где каждый человек волен жить по-своему. Так, как ему нравится, как он привык…

Вскоре я взял Альму с собой на работу. В лесу она сразу почувствовала себя, как дома. Бегала рядом, обнюхивала муравейники, обходила и рассматривала со всех сторон замшелые пни, пыталась разрывать чьи-то норки, скусывала и жевала зелёные стебельки лесных трав. Она была занята каждую минуту. Она работала, познавала мир, жила. Иногда я сам, глядя на неё, начинал испытывать странную, не свойственную мне веселость. Мне тоже хотелось, вслед за ней, пробежаться по влажному, мягкому беломошнику и крикнуть в пасмурной чаще что-нибудь нахальное. Больше я не боялся столкнуться с медведем или кабаном нос к носу. Мне не нужно было оглядываться на каждый подозрительный шорох, на каждый треск сучьев за спиной, и в благодарность за это я стал называть Альму Альмарой, а потом ещё короче и проще – Марой. Мара же, в свою очередь, научилась с готовностью откликаться на все свои имена…

Ближе к осени я начал готовить инструменты для подрумянивания кар. Выточил скобель, как бритву, приготовил топор, который легко умещается в походном рюкзаке, отыскал в чулане шубные рукавицы.

Каждую зиму нас обещают возить на работу на специальной машине. Однажды мы даже видели эту самую машину с двумя ведущими мостами и утепленным салоном, приспособленным для перевозки людей. На ней наш старший мастер со своими друзьями ездил на охоту в соседний район. Эта машина легко прошла по бездорожью несколько сотен километров, но после этого больше у нас не появлялась. Сначала нам сообщили, что у неё поломался какой-то вал в коробке передач, потом ещё что-то говорили о ненадежной ледовой переправе через Вятку, о скверной и сырой погоде, о наледи на реке. В общем, как это чаще всего случалось и прежде, мне пришлось готовить к дальним походам свои старенькие лыжи. Потом вставать чуть свет, надевать на себя тёплый шерстяной свитер, ватные брюки, фуфайку, серые валенки с глубокими галошами, взваливать на плечи походный рюкзак с провиантом и шагать на лыжах до реки, которая в начале декабря уже покрыта льдом.

На улицах поселка в это время тихо. На берегу реки чувствуется слабый ветерок. Но стоит только спуститься в русло реки и отойти от берега несколько метров, как в лицо ударяет сильный северный ветер. И откуда он берется – непонятно. Снег в это время ещё рыхлый, легкий, не слежавшийся. Через час ходьбы по этому снегу лыжи кажутся пудовыми, пространство до леса – огромным, а сил для ходьбы – никаких. Да ещё этот встречный северный ветер, который обжигает лицо и легко проникает под шарф на груди.

Мара сначала резво бежит за мной по лыжному следу, иногда забегает вперед, возвращается, наклонив голову, обследует какие-то бугорки и ямки, но, в конце концов, выдыхается и она. Нехотя плетётся за мной где-то сзади и недовольно скулит.

Морозно. Небо на горизонте всё ещё розоватое, и от этого снежная даль кажется не белой, а сиреневой. Редкие полыньи на реке клубятся воилочно-серым туманом. Ветер относит туман в сторону, но клубы его рождаются вновь и вновь, укрывая горизонт сероватой дымкой. Тонким плетеньем из серебра отсвечивают ледяные торосы вдоль русла реки. Зима чувствуется во всем. Но когда полыньи остаются позади, на сердце все же делается легче.

А когда с ледяной реки попадаешь, наконец, в прибрежные заросли чернотала с густыми красноватыми ветвями, то сразу ощущаешь другой мир. Мир спокойного лесного безветрия, где порой даже среди зимы вдруг застрекочут, защебечут, передразнивая друг друга, невиди-

мые птицы. Правда, и здесь в первый раз прокладывать лыжню трудновато, особенно если на пути попадаются нескошенные луга, заросшие колючим шиповником или мелким ивняком…

И вот, когда силы, кажется, уже на исходе, когда очень хочется сесть на случайную валежину где-нибудь сбоку от тропы и передохнуть – на горизонте, наконец, появляется мой лесной участок. Высокие, белесые от инея кроны сосен видно издалека. Там, на вершине бугра, – моя хижина. Я уже представляю, как натоплю железную печь в своей лесной будке, как сяду возле окна и долго-долго буду смотреть на охряные стволы сосен, на длинные синие тени, пересекающие мою тропинку, на яркое, блестящее, как матовое стекло, пятно поляны вдали. И миг этого созерцания, сопровождающего отдых, покажется мне счастьем. Покажется счастьем холодное лесное безмолвие начала декабря, черно-белое кружево подлеска под грузными пирамидами елей возле болота. И неожиданно возникнет в душе ощущение удивительной красоты и бесцельности жизни. Да – да, красоты и бесцельности! Ведь всё здесь, в этом мире, поразительно гармонично, возвышенно и эфемерно. И чарующая медлительность зимы, и детская скоропалительность лета, и старческая пора поздней осени.

Потом я немного перекушу, чтобы не возвращаться в будку в ближайшие час – полтора, возьму скобель и отправлюсь готовить кары для будущего сезона.

Отточенный, как бритва, нехитрый инструмент срезает с сосновой коры красноватую, тонкую стружку. Она ложится веером на снег, и какое-то время мне это занятие кажется интересным. Моя первая кара получается гладкой и ровной, как произведение искусства. Хоть сейчас бери резец и вырезай на ней какую-нибудь картину, где дубы и березы на красном фоне летнего заката раскинули ветви… Потом работа начинает утомлять. Меж лопаток появляется испарина. И не радует уже ни веер красноватых стружек, похожих на лепестки роз, ни картинность кар, ни чистый морозный воздух.

В общем, когда на дороге, идущей мимо будки, появляется Александр Семенович, местный охотник – профессионал, я всё бросаю, встаю на лыжи и спешу к нему, чтобы перекинуться с ним парой слов. Он с улыбкой здоровается со мной, снимает старую шапку, от которой идет легкий парок, и, опершись на лыжную палку, опережая мой обычный вопрос, отвечает, что сегодня одного бобра уже взял.

– Тут, на Кугуери, у меня четыре капкана стояло. Один сегодня сработал. Славный бобер попался. Килограммов на двенадцать, – сообщает Александр Семенович, поглаживая заиндевелую бороду широкой крестьянской ладонью. – Я его ободрал. Хорошее мясо по капканам разложил, как приманку для норки, а которое похуже – с собой забрал для собаки… Я ведь сейчас один живу, – продолжает он со вздохом, – жена к детям подалась. Скотины у меня нет, вот и шатаюсь по лесу целыми днями. Привык уже. Без дела не могу. Хотя, что мне эта шкура за двести рублей? Для чего? Сам не знаю. Просто дома мне не усидеть в такую пору. Лес манит. В лесу-то ведь рай.

– А я уже устал от этого рая. Кар двадцать, наверное, подрумянил.

– Устал – отдохни. Кто тебя гонит, – учит меня Александр Семенович. – Ты сам себе хозяин. Никуда не спеши. Всей работы не переделаешь, всех денег не заработаешь. Я в молодости-то тоже, бывало, рвал и метал, рвал и метал, а что толку? Что у меня есть? Ничего нет. Ни кола, ни двора, ни бабы. И скотину я не держу. Для чего мне скотина-то, одному? Я только в лесу и чувствую себя человеком. Вот пройдусь по сосновой гриве, надышусь свежим воздухом, и потеплеет на сердце…

Я люблю разговаривать с Александром Семеновичем. Есть в нем что-то простое, породистое и колоритное. Какая-то необыкновенная русская мощь, природная земляная сила. А самое главное, он никогда не унывает, никогда не теряет достоинства и на болезни не жалуется. Хотя на вид – обыкновенный сухонький мужик лет шестидесяти. Но его глаза всегда светятся таким озорством, таким задором, что у любого собеседника становится теплее на душе.

Зимние мысли

Ближе к Новому году морозы крепчают. Мутный день обычно начинается с обильного снегопада и проходит в некой полутьме, в спешке, а потом как-то неожиданно заканчивается, вспыхнув на горизонте сиреневым закатом. В эти дни даже Мара становится ленивой, понуро бредет за мной по лыжне, часто дышит и посматривает на меня внимательными глазами. Иногда в такие минуты мне кажется, что она вот-вот скажет мне что-нибудь печальное, устало вздохнет и повернет обратно к дому.

Рюкзак неприятно давит на плечи, между лопатками на спине становится сыро, в голову лезут досадные мысли. Мне начинает казаться, что я занимаюсь не своим делом. Давно пора найти себе что-нибудь другое, более легкое, менее утомительное. Я думаю, что моя жена слишком расточительна. Она очень легко тратит деньги, которые я зарабатываю тяжелым ручным трудом. Я думаю о том, что Россия – это дикая, варварская страна, где со времен царя Алексея Михайловича почти ничего не изменилось. Особенно в глубинке, в провинции. Город, конечно, шагнул далеко вперед, там многое изменилось, стало ближе к цивилизации, а в селе, как ни приглядывайся, всё по- старому. Русская деревня, как прежде, состоит из бревен и досок, отапливается дровами и трудится с утра до поздней ночи. А длинными зимними вечерами ждет от нового правительства давно обещанных хороших перемен. Вот только перемены эти почему-то всё никак не наступят.



Я прохожу мимо заброшенного лесного поселка, где когда-то была своя школа, своя пилорама, тарный цех, лесничество и где сейчас ничего этого больше нет. Только прямая, как выстрел, насыпь узкоколейки, останки каких-то заборов да мотки ржавой проволоки, похожие на копны сухого кустарника. Даже не верится, что несколько лет назад здесь кипела жизнь.

Помню, как-то вечером под Новый год я попал сюда по пути из райцентра домой. Вышел из машины, чтобы размять ноги, и удивился, как тут красиво. Уже смеркалось, небо на западе

было какого-то холодного золотистого цвета, окна домов на нескольких улицах празднично светились в вечерней полутьме, а прямо за поселком величественно возвышался лес: сосны и ели, щедро украшенные шапками скипевшегося синеватого снега. Какие-то мальчишки на дороге играли с собакой, был слышен скрип снега под их ногами, веселые крики. А над многочисленными печными трубами поселка поднимался в небо белесый дым, постепенно превращаясь в одно сизое облако.

Странно, что ничего этого больше нет. Странно, что всё здесь мертво и неподвижно, что все покрывает холодная безучастная белизна.

Друзья и враги

На следующий год весна была ранней. Снег сошел за несколько дней. От зимнего холода ничего не осталось, как, впрочем, ничего не осталось и от моих прежних страхов. Мара сейчас всегда была со мной.

Помню, Вятка разлилась уже в полную силу. В солнечные дни было слышно, как на залитых водой лугах, в узких протоках между гривами, в тени громадных деревьев плещется рыба, идущая на нерест. Грех стало не поймать на уху, когда имеется для этого всё необходимое.



Вечером после работы я поставил в узкую пойму перед лесом свою единственную потрепанную временем сеть. Больших надежд я, конечно, не питал, но утром на следующий день спешил на работу с азартом заядлого рыболова. А вдруг мне удалось случайно перекрыть нерестовый ход?

В общем, добравшись до своего участка, я вытащил из кустов старенький ботник – плоскодонку, осторожно сел в него и поплыл к сети, загребая коротким веслом, отдаленно напоминающим лопату. За ночь вода сильно прибыла, и моя сеть полностью ушла под воду. На поверхности воды сейчас болталось только несколько белых поплавков. К этим поплавкам я и направил свое утлое суденышко.

Как только верхняя веревка сети попала мне в руки, я сразу ощутил где-то рядом упругие удары. Осторожно стал перебираться по холодной и мокрой верёвке к тому месту, где должна была находиться крупная рыба, и в это время заметил в кустах напротив какой-то непонятный серый предмет. Я попробовал рассмотреть его, но не смог этого сделать. Он был за плотной стеной цветущего ивняка.

Через какое-то время в моих руках оказался довольно увесистый жерех. Перебираясь по сети дальше, я выпутал из неё несколько увертливых, скользких щук и одного леща. Пойманная рыба упруго изгибалась, подпрыгивала со дна ботника вверх и ярко вспыхивала

на солнце. Это утро было удивительно тихое, пронзительно солнечное и безветренное. Бесконечная водная гладь кругом отражала только нежно-зелёные кусты ив, корявые стволы низкорослых дубов да чистое, голубое, с мглистой проседью небо.

На обратном пути я решил поближе подплыть к серому предмету за кустами… Если бы я мог предположить, что меня там ожидает.

Дело в том, что вблизи этот серый бесформенный предмет оказался головой лося, неподвижно торчащей из воды у самого берега. Я долго не мог понять, живой он или мертвый? Хотя живой лось, наверняка, не подпустил бы меня так близко. Он давно бы уплыл куда-нибудь в сторону.

И всё же дотронуться до него я осмелился не сразу. Мешали его большие, широко открытые таинственно-тёмные глаза. Этими глазами на меня смотрела та река вечности, на поверхности которой всё живое выглядит эфемерным. Этими глазами на меня смотрело утраченное время, несбывшиеся надежды, минутное отчаянье перед вечным холодом смерти.

Выждав несколько минут, я бросил в лося палкой, случайно оказавшейся в ботнике, потом погрозил ему веслом и только после этого подплыл к нему и дотронулся. Лось был холоден. Но мертвый он или живой, мне было до конца не ясно. В душе ещё жил какой-то потаенный страх. Задержавшись возле лося, я решил, что оставлять его тут, возле берега, нельзя. После того, как недели через две вода спадет, лось окажется на зелёной поляне, начнет разлагаться, и на запах падали сбежится сюда вся хищная лесная дичь. Может пожаловать и медведь. Его следы несколько дней назад я вновь увидел на своей размокшей после дождей тропе, в том месте, где густые заросли бересклета спускаются к воде.

Первым моим желанием было вытащить лося на берег и закопать. Однако я вовремя вспомнил, что в моей будке нет лопаты. Она исчезла куда-то прошлой зимой. Поэтому будет лучше отбуксировать лося в широкую протоку, омывающую лес со стороны реки. Там вода подхватит лося и унесет на несколько километров в сторону или прибьет к дубовой гриве. На этой гриве прошлой зимой поселились кабаны. Они в два счета расправятся с падалью.

Недолго думая, я накинул на голову лося петлю из алюминиевой проволоки, привязал другой конец петли к корме ботника и поплыл навстречу теченью, усиленно загребая единственным веслом. Вскоре вода подхватила нас, вынесла на середину мутной весенней протоки и легко развернула. Здесь течение было таким сильным, что дугой выгибало ивовые кусты, облепляя их прошлогодней травой и опавшими листьями. Теперь оставалось только освободить лося от проволочной удавки.

Я нагнулся к несчастному животному, чтобы поскорее развязать проволоку у него на шее, и тут мне показалось, что он слегка пошевелил ушами, да и глаза у него как-то странно блеснули, как будто внутри этих глаз что-то ожило. В следующий момент голова лося с шумом ушла под воду. Вслед за ней с веером мелких брызг взметнулось вверх и исчезло под водой огромное копыто. Потом что-то ударило по дну ботника с ужасной силой. Мой ботник завалился на один бок и стал переворачиваться. Не успел я сообразить, что произошло, как оказался в холодной воде на середине весенней протоки. Болотные сапоги тянули меня на дно, но медленно намокающая фуфайка пока ещё помогала держаться на плаву, хотя уже изрядно сковывала движения. Я стал усиленно работать руками, пытаясь доплыть до прибрежных кустов. Там была спасительная возвышенность, по которой можно добраться до леса, переползая с коряги на корягу, с одного куста чернотала на другой, по-кошачьи цепляясь за вершины полузатопленных кустарников. Только бы течение не пронесло меня мимо, только бы не утянули на дно болотные сапоги.

Задирая вверх подборок, я работал руками из последних сил. Но уверенных движений у меня почему-то не получалось. Все силы забирал какой-то неведомый доселе страх. И еще все это время меня угнетал один и тот же вопрос: «Почему я? Почему так глупо? Почему именно сейчас, когда я так нужен жене и детям»? Этот страх и эта обида лишали меня сил. Я

понимал, что должен успокоиться, должен найти нечто рациональное в данный момент и не мог сосредоточиться, не мог найти в себе силы стать спокойным и рассудительным. Не знал, как это сделать. Я видел перед собой ворох брызг, безразличное небо над головой, перевернутый кверху дном ботник и темный берег вдали, который почему-то не приближался. И это больше всего пугало. «Нет! Нет… Я не могу сейчас утонуть! – говорил я с сам себе. – Я выплыву. Пусть не здесь – дальше. Но всё равно выплыву! Должен выплыть! Ведь я не чувствую холода. Холод меня не сковал. Меня сковал страх. А страх – это грех. С грехом надо бороться. С грехом надо бороться из последних сил… Надо! Надо! Надо перебороть страх, грех, отчаянье, тьму немой вечности. Всё надо перебороть. И тогда я выплыву. Я обязательно выплыву. Я должен это сделать».

В общем, как я добрался до берега, сейчас я представляю с трудом. Помню только, что больше всего в последние секунды перед выходом на такой, казалось бы, близкий сухой берег меня угнетал вовсе не холод, меня угнетало кое-то роковое, опустошающее бессилие. Я знал, что мне нужно встать с влажной травы и дойти до своей тёплой будки каких-то тридцать – сорок метров, чтобы переодеться, чтобы выпить горячего чаю, но не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Я, кажется, толком не понимал, что со мной происходит. Вечность, только что смыкавшая надо мной свои черные крылья, кажется, отступила. Она оставила мне шанс, а я лежу без движений, без сил на отмели рядом с берегом и не могу подняться…

Опомнился я оттого, что Мара облизывала мое лицо. Я открыл глаза. Всё кругом было залито ослепительным солнечным светом, всё млело от майской жары. Где-то рядом со мной гудели на солнцепеке пчелы, порхали невесомые бабочки, беззаботно пели птицы, а мне было холодно. Ужасно холодно и одиноко. Я удивился, что всё ещё лежу на влажной траве в мокрой одежде.

Кое-как я поднялся с земли и побрел к своей будке. Там переоделся, подкинул охапку дров в железную печь, где все ещё тлели угли. Сел на тёплый топчан возле печи, выпил горячего чаю и только после этого почувствовал, что ко мне возвращаются силы. Я жив. Я вижу, слышу, осязаю. Мои руки и ноги шевелятся, как раньше, но где-то там, в душе, я, кажется, стал другим. Я сделался старше, трезвее и расчетливее. Я совершенно лишился юношеского безрассудства…

Мой термос скоро опустел. Я поставил на печь старый железный чайник, бросил в него пару веток брусничника, горсть ягод шиповника, пучок свежей крапивы, дождался, когда это всё закипит, и, укрывшись ватным одеялом, пил горьковатый отвар из трав до самого вечера. Потел, иногда засыпал, просыпался и снова пил, и к окончанию рабочего дня почувствовал себя совершенно здоровым человеком. У меня, кажется, не было даже насморка. Только рыбачить мне больше не хотелось.

И тут я вспомнил, что на середине протоки, которую я пробовал пересечь вместе с лосем, с прошлого года лежит огромное мертвое дерево с оголившимися от коры, белыми, похожими на ребра древнего животного ветвями. Скорее всего, сильным теченьем меня затащило на крону этого дерева. А всё остальное – это всего лишь роковое стечение обстоятельств…

Когда поздним вечером в тот день я пришел к лодке, чтобы отправиться домой, мужики меня не узнали. Я им показался каким-то другим. Старше своих лет, что ли. А Михаил Иванович огорошил меня, сказав, что в моем лице появилось что-то от ликов святых…

Карамба

В конце мая вздымщик третьего участка, которого все работники леспромхоза почему-то называли Карамбой, опять запировал или, как у нас говорят, «загудел». Карамбу мы недолюбливали. Пьяный, он вечно торчал у продовольственного магазина в какой-то грязной выцветшей фуфайке, застиранных брюках, немытый, непричесанный и просил у каждого встречного рубль на пиво. Он был как-то нескладно довольно высок, сутул и мрачен. Когда я в очередной раз увидел его серое безразличное лицо с глубоко посаженными водянистыми глазами, мясистым носом и крупным, выдающимся вперед подбородком, я почувствовал, что скоро к нашему бригадиру Михаилу Ивановичу подойдет мастер Морозов с виноватым лицом и попросит помочь Карамбе в последний раз, иначе план по добыче живицы мы не выполним, сезонной премии не получим или, хуже того – готовый к подсочке участок всё лето без дела простоит.

Короче говоря, нам пришлось ставить приёмники ещё на одном участке. Работали мы всей бригадой: я, Михаил Иванович и Николай Васильевич.

О Михаиле Ивановиче, пожалуй, надо сказать отдельно. Этому человеку было уже за пятьдесят с лишним. С раннего детства Михаил Иванович только и знал, что исполнял какую-нибудь тяжёлую ручную работу и никакого иного призвания за собой не чувствовал. С самого детства он всем был должен. Все от него чего-то требовали, ждали, желали получить. Даже любовь порой представлялась ему некой приятной работой, от которой к старости он стал уставать… Иногда ни с того ни с сего он хвастался, что может класть печи и катать валенки, а вот оконные косяки вставлять так и не научился, хотя кой – какие навыки по столярной части у него имеются и всё, что требуется для дома, он может выполнить своими руками. Были бы в наличии нужные для этого инструменты.

В трезвом виде Михаил Иванович шуток не понимает, а пьяный без умолку смеётся над всякой ерундой и других пытается рассмешить. Правда, это у него не всегда получается. Сразу видно, что рассказчик из него неважнецкий.

Николай же, наоборот, любит поговорить, правда, его рассуждения никогда не бывают оригинальными. Обо всем, что он пробует нам поведать, я почему-то знаю заранее. Такое впечатление, как будто мы с ним бывшие одноклассники или, по крайней мере, старые друзья, как будто с детства читаем одни и те же книги, смотрим по вечерам одни и те же телепередачи. Хотя он на три года старше меня и жена у него учитель с высшим образованием. Я бы о ней не упомянул, но не стану скрывать – она мне нравится. Сейчас я не могу сказать, чем именно. И фигура у неё не совсем идеальная, и нос довольно большой. Но когда она улыбается, когда говорит со мной, смешно спотыкаясь на букве «эр», я начинаю испытывать к ней нечто напоминающее физическое влечение… Мне кажется, Николай своей жены недооценивает. Не понимает, какой она клад, какое сокровище.

Наша работа на новом участке шла медленно. Честно признаться, мы не очень-то усердствовали. Без конца отрывались на перекуры, подолгу обедали, пили чай, играли в карты. Потом к нам присоединился виновник всех бед – Константин Кедрин, по прозвищу Карамба. Дня три после длительного запоя он основательно похмелялся, становился навязчиво весел, вешался Николаю на шею, в приступе благодарности лез ко мне целоваться и при этом называл нас всех «робятами». «Робяты, как я вас люблю! Если б вы знали! – то и дело повторял он, плетясь вслед за нами до своего участка. – Вы настоящие друганы!»

К концу недели мы кое-как управились с непредвиденной и ненужной нам работой. Устало разбрелись по своим участкам и принялись добывать живицу. Дни стояли уже на редкость тёплые, солнечные, безветренные. Золотистые сосны на песчаных гривах весь день стояли по стойке «смирно» и редкие продолговатые облака сейчас проплывали над ними, как некие мимолетные виденья.

На окраине леса распустилась и зацвела черёмуха. Её запах всегда чем-то волнует и будоражит меня, как могут волновать и будоражить только духи любимой женщины.

Так устроена жизнь

Какое-то время у меня в лесу всё было хорошо, а потом неожиданно возникли новые трудности.

Пойму, которая отделяет мой участок от необъятных просторов тайги, за прошедшую неделю полностью затопило талой водой, и теперь даже в болотных сапогах я с трудом переходил через неё на свою сосновую гриву. Вода была всюду, и всюду было зеркальное, отражающее облака небо. И всюду из этих облаков торчали наполовину затопленные деревья и кустарники, какие-то полусгнившие стволы и корневища.

Так вот, однажды, когда я уже выходил на сушу, когда Мара, помахав хвостом, привычно убежала к будке – впереди меня на бугре вдруг возникла тёмно-бурая, возбужденная лосиха.

Я остановился. Лосиха грозно притопнула передними ногами, раздула ноздри и громко зафыркала. Я же не сразу сообразил, в чем тут дело.

Оказывается, невдалеке от того места, где она находилась, на матовом от солнца брусничнике лежали два ее огненно-рыжих лосенка. Причем, лосята, скорее всего, видели меня, но почему-то не выказывали беспокойства.

Я остановился. А что ещё было делать?

Волей – неволей мне пришлось взбираться на дерево. Кое-как я вскарабкался на корявый ствол березы до первой широкой развилки и подумал о том, что моя работа сейчас напоминает самую настоящую партизанскую войну, когда на каждом шагу тебя подстерегают опасности: то медведи, то кабаны, то лоси. Да тут ещё клещи появились. На работу уходишь, как в тыл к противнику, и, уходя, не знаешь, вернешься ли обратно. Тут уж никакая собака не в силах помочь.

Какое-то время я сидел на дереве, обняв его руками и тоскливо глядя по сторонам. Потом, от нечего делать, решил втолковать лосихе, что мне её рыжие неуклюжие лосята вовсе не нужны. Мне просто надо добраться до будки, и если лосиха одумается, если отойдет чуть – чуть в сторону, мне будет этого вполне достаточно, потому что сидеть на дереве я долго не смогу, я не дятел какой-нибудь, я человек. Хотя в какой-то мере, может быть, я уже и не человек вовсе, а некий непутевый зверь, которого обстоятельства загнала в самую чащу дикой российской жизни.

Лосиха, кажется, внимательно слушала меня. Она уже не фыркала и не топала ногами, но и не проявляла при этом никаких признаков понимания. Сложно было разобраться, что при этом происходит в её большой, лохматой голове. Я продолжал приводить ей убедительные доводы своего миролюбия, идущего от моей явной беззащитности, но, в конце концов, видя ее безразличие, вынужден был послать её к чертовой бабушке. Потом стал материться, как сапожник, обзывать её дурой, вертеть пальцем у виска. И это, кажется, подействовало. Она что-то поняла. Вернулась к своим лосятам, обошла их с другой стороны, издала странный звук, чем-то похожий на пенье жабы перед дождем, и стала медленно удаляться. Лосята неуверенной походкой последовали за ней…

А ещё через несколько минут я был у своей неказистой будки. Там под разлапистой елкой на мягкой лесной подстилке беззаботно нежилась на солнце моя Мара. Когда я подошел к ней достаточно близко, она подняла свою рыжую лохматую голову, сонно посмотрела на меня, потом опустила веки и, успокоено вздохнув, снова вытянулась на своей лежанке.

Странно всё – таки устроена природа. Мара прошла перед самым носом у лосят и не заметила их, не определила по запаху, а лосята в свою очередь ничем не выдали себя. Эта врожденная способность затаиться, видимо, их и спасает. Или Мара перестала воспринимать лосей как настоящих зверей и видит в них неких длинноногих лесных коров.

Вкус пива

На следующий день было воскресенье. Погода снова стояла прекрасная. С самого утра сквозь легкий сизый туман медлительным медовым потопом проливалось на землю солнце. В небе пел жаворонок, глянцевито блестела первая, влажная от росы трава, а мне почему-то сделалось грустно. Я вырвался из леса на целый день, избавился от одиночества и сейчас мне очень хотел поговорить с кем-нибудь «по душам». Наверное, поэтому я так быстро согласился пойти на шабашку с Костей Карамбой, который неожиданно появился возле калитки с колуном в руке. Он был в синей выцветшей рубахе, темных китайских брюках и кирзовых сапогах.

Потом мы кололи дрова у шустрой для своих семидесяти лет старушки Натальи Карповны и говорили о разных пустяках. На обед она припасла нам литровую банку самогона, выставила на стол вместительное блюдо соленой капусты с подсолнечным маслом, потом добавила маринованных огурчиков, поджарила в чугунной сковороде десяток куриных яиц, и мы как-то незаметно, рюмка за рюмкой, ложка за ложкой всё это выпили и съели. Весело заговорили о современной российской политике, о нашей работе, потом о соблазнительных женщинах с мощными ягодицами. Короче говоря, сильно запьянели и дрова доколоть уже не смогли, только сутуло сидели возле низкого забора рядом с поленницей свежих чурок и громко разговаривали, размашисто жестикулируя руками. Потом, кажется, что-то пели, пугая прохожих своими бандитскими красными рожами и оглушительно громкими голосами. Немного позднее я рассказал Константину про лося, который меня едва не утопил, про то, как вместе с лосем я лишился превосходного ботника. Но Карамба, кажется, ничего не понял, потому что смотрел на меня слишком весело и всё ждал от меня чего-то ещё, не то более смешного, не то более занимательного, чем эта странная, не слишком-то похожая на правду история.

Немного погодя рядом с нами откуда-то появился старый друг Карамбы Иван Бердников. Он был уже навеселе, поэтому уверенно сел между нами, обнял нас за худые плечи, стал что-то энергично рассказывать своим басовитым громким голосом. Он рассказывал и посмеивался. Мы, правда, уже плохо понимали, о чем он говорит, но постепенно нам тоже стало смешно, потому что с боку лицо Ивана показалось мне очень похожим на гармошку… У Ивана в сетке была трехлитровая банка с пивом, поэтому он с полным правом пригласил нас к себе во флигель.

– Посидим там в холодке. Помечтаем. На шедевры мои поглядите, которые я сам срисовываю с картин старинных мастеров.

– Ну, пошли, коль не шутишь, – согласился Константин.

Во флигеле у Ивана было хорошо, прохладно и уютно. Там по стенам были развешаны картины, изображающие пышноволосых и краснозадых женщин, сквозь пол росла малина, а на единственном подоконнике толстым слоем лежала белесая пыль вперемешку с дохлыми мухами. Нельзя сказать, что во флигеле было сумрачно, но нечто вечернее явно проступало сквозь мутное стекло в сад. В этой обстановке уже через полчаса мы тоскливо запели.

Клен ты мой опавший,
Клен заледенелый,
Что стоишь, согнувшись,
Под метелью белой…

Но в конце очередной песни Карамба вдруг увидел пустую банку из – под пива у себя перед носом, громко расплакался и стал с чувством жаловаться на свою беспросветную жизнь. Сказал, что жена ему изменяет. Потом громко выкрикнул: «Вы ничего не знаете, робяты! Ничего не понимаете!» – и выскочил из флигеля вон. Немного позднее я заметил его в густом малиннике сидящим на корточках со спущенными штанами. Он сидел, делал свое «дело» и горько плакал.

После его ухода во флигеле стало так тоскливо, что меня неожиданно стошнило. Иван в это время посмотрел на меня осуждающе и многозначительно изрек: «Ну вот, расставлены все точки над «и»…

Серьёзная женщина

А в понедельник вечером ко мне пришла Наталья Карповна, снисходительно погрозила желтоватым пальцем и попросила доколоть дрова – «раз уж взялись, дак». Объяснила, что на прошлое она не обижается, с кем не бывает, только напомнить пришла по пути за хлебом, что обещанное нужно исполнять. Немного помолчала и посетовала: «Хлеб два дня не привозили из района, из-за этого в магазине сегодня давка. Еле – еле до прилавка добралась. Вся ухомаздалась».

Вечером мне пришлось докалывать дрова одному. Я колол сучковатые тюльки, потел, вытирал лоб матерчатой кепкой и думал о том, что жизнь устроена отвратительно. Несправедливо. Глупо. Поэтому человек, который много и хорошо работает, всегда и всем должен, а единственное чувство, которое он при этом испытывает, – это чувство усталости. Он обречён уставать, пока жив, и вместе с уважением в старости к нему обычно приходят болезни, а вместе с предполагаемым отдыхом – смерть. Но даже если он умирает, люди, чаще всего, скорбят не об утраченной навсегда интересной, своеобразной личности, а, скорее, о потерянном работнике. Им дела нет до той несвободы, которую он ощущал всю жизнь.

После ужина ко мне пришла жена. Села на большую осиновую тюльку возле забора и спросила:

– Чего это ты, Андрей, так и будешь один дрова колоть? Друг-то твой где шатается?

– Не знаю, – ответил я, еле сдерживая раздражение.

– Вот те на! – удивилась жена.

– Ну, не пришёл пока. Что я, искать его буду?

– Значит, вино пить вместе, а работать – врозь. Так что ли? Интересно получается.

Я хотел было снова огрызнуться на неё, но не смог. Жена была в шелковом голубом халате с горошками. Ей идет этот цвет, потому что глаза у неё тоже голубые и наивные, как у ребенка. Только в последнее время я замечаю в них всё больше грусти. Я замечаю в них больше глубоких холодных теней, чем яркого тёплого света. Наверное, в этом есть и моя вина.

– Тогда не надо было за работу браться, если не уверен в человеке, – с укором продолжила Тамара. – Хотя какой он человек. Пропойца несчастный!

– Доколю без него. Не переживай.

– Давай! Докалывай! Ты всю жизнь так. За всех один отдуваешься… Думаешь, люди тебе за это спасибо скажут? Не надейся… Вот я на тебя гляжу – и мне тебя жаль. Больше ничего. В чем только душа держится, кожа да кости. Да ещё надо сегодня навоз у коровы вычистить, воды с колонки в баню натаскать.

– Ну и что?

– Ничего… Бросай всё и пошли домой. Бросай и пошли, а то заплачу сейчас у всех на виду… Кожа да кости… И что за мужик такой упрямый…

И мне, действительно, захотелось всё бросить к чёртовой бабушке: и дрова, и лес, и домашнее хозяйство. Не мое это дело. Не моё! Надо же когда-нибудь отдохнуть по-человечески. Это раньше считалось, что физический труд полезен, что он облагораживает, даже лечит. А сейчас об этом уже никто не вспоминает. Даже лозунг «Кто не работает – тот не ест!» стал звучать как издевательство, потому что производитель, работник как раз и получает за свой труд меньше всех. А тот, кто не работает на производстве, но распоряжается плодами чужого труда, тот всё имеет.

В общем, к вечеру я дрова доколол. Зашел к Карповне, отчитался о проделанной работе. Потом, преодолевая чувство брезгливости, чисто из уважения к старому человеку, выпил два стакана браги, приторно отдающей уксусом, и вышел на улицу, чувствуя тошнотворную тяжесть в желудке и запоздало осознавая, что в благодарность за всё меня, кажется, отравили…

Через какое-то время мне стало дурно. На ватных от слабости ногах я зашел за сельповские поленницы возле дороги, где вовсю благоухали высоченные лопухи, лег там на спину и долго – долго смотрел в небо с тоскливым равнодушием. Небо было цвета молочной сыворотки с тёмным крошевом птиц в самом зените. Глядя в него, я почувствовал себя никому не нужным, бесконечно одиноким человеком. И мне захотелось умереть, чтобы не видеть этого пустого бездонного, равнодушного неба, этой жирной зелени, не чувствовать тошнотворного запаха, наплывающего откуда-то справа, от приземистого дощаного туалета, склонившегося над оврагом. Жизнь вдруг показалась мне лишенной всякого смысла – отвратительным путешествием от одной неразрешимой проблемы к другой. От одного противоречия к другому. Что в ней хорошего? Что ценного? Ведь вокруг меня только пустота и хаос. Хаос и пустота…

И в это время рядом со мной вдруг появилась Мара. Она буквально выросла из-под земли, радостно лизнула меня в щеку, легла рядом, весело замахала рыжим хвостом. Я обнял её за теплую лохматую шею, уткнулся своим лицом в её тёплую и доверчивую морду. И на секунду успокоился. Что самое странное, от Мары на этот раз пахло самой настоящей лесной свежестью. Шерсть у неё приятно блестела, коричневые с желтинкой глаза излучали искреннюю преданность.

Через какое-то время мне сделалось легче. Я с трудом поднялся и направился в пивной бар на центральную улицу, чтобы выпить кружечку свежего пива, расслабиться в холодке, поговорить с кем-нибудь «по душам». Моя утомленная грустными мыслями душа желала общения.

Стихия стиха

В небольшом помещении бара на этот раз было сильно накурено. Незнакомые люди в углу, у окна, громко о чем-то спорили, а пиво, как назло, оказалось старое, какое-то слишком тёплое и подозрительно пенистое. Когда я зашел туда, то никто не обратил на меня внимания. Правда, уже через несколько минут ко мне подсел один из местных завсегдатаев, Леха Шарабора, и, размахивая пустой кружкой, предложил выпить за его лучшего друга Сашу Баранова. Вид у Лехи был такой убогий и такой беззащитный, что я уже готов был пожалеть его – купить ему пару кружек теплого пива. Пусть выпьет за мое здоровье. Но этот человек вдруг начал философствовать.

– Ты извини меня, Андрей, что выгляжу так несерьёзно. Понимаешь, друг мой Саша Баранов помер. Хороший был человек, добрый, правда, выпить любил… А чего? Это неплохо, когда хороший человек выпить любит.

После этого Леха сделал задумчивое лицо, немного помолчал и продолжил:

– Я про него стихи написал. Хочешь послушать? Вот слушай тогда…

И Леха стал читать свои стихи, слегка склонившись к моему уху:

Живем размеренно и жестко,
как будто принудили жить,
и сердце жалобно дрожит,
как в бурю чахлая березка.
Так над жнивьем дрожит рассвет
полоской красной киновари.
Жизнь дорога для каждой твари…
Жаль – смысла в этой жизни нет.

Леха вдруг перестал читать и замолчал, потом махнул рукой сверху вниз так резко и многозначительно, что объяснять ничего стало не нужно. Это был итог – черта, разрушающая все привычные догмы.

– А дальше? – спросил я после недолгой паузы.

– Дальше не буду читать. Дальше очень жалостливо. Боюсь, расплачусь… Я ведь раньше учителем истории был, десять лет в школе преподавал. Вот… А сейчас стал бродягой, босяком, Лехой Шараборой. Бутылки по обочинам дорог собираю. Стыдно мне, знаешь ли. Но ты меня не жалей, мне жалость не нужна. Я просто хочу, чтобы меня понимали, для этого и пью… Сам знаешь, что пьяные люди понимают друг друга с полуслова. Никакие условности им не мешают, не страшат никакие проблемы… Вот мать у меня была гулящая женщина. Это правда. Ну и что? А я её всё равно любил. И никогда не стыдился. Мы тогда в Отрясах жили, на большой дороге. У нас всегда проезжие шофера останавливались и прочие барыги, без определённого рода занятий. Мать с ними выпьет, песни запоет, а потом – сам понимаешь… Но мы с сестрой этому значения не придавали, не замечали дурного ничего. У нас была своя жизнь. У матери – своя. Мы выучились, образование получили. Как говорится, из грязи – да в князи… У сестры получилось, а у меня нет. Сестра-то моя сейчас в большом городе живет, детей воспитывает, гнездо вьет, а я вот – не сумел удержаться… Сестра мою мать доходила, докормила – всё как положено, как у людей… А Саша Баранов мой друг был. Всю войну человек прошел, там его и контузило…

Леха что-то ещё договорил загорелой до черноты рукой. Этот взмах его руки был уже не таким резким и катастрофическим, как первый. Он означал больше чем паузу, но меньше, чем обреченность.

– Помнишь, он ещё ходил так, немного боком, как бы крадучись. Со всеми здоровался, всех по имени отчеству называл. А пацанята, которые ничего про него не знали, его называли

Сашей – дурачком… С головой у него, правда, было что-то этакое. Иногда вдруг так умно заговорит, что невозможно понять, а иногда весь вечер ерунду порет. Короче, сдвиг небольшой по фазе, как у всех очень умных людей… И никто его не понимал из—за этого. Даже я, если трезвый, не понимал. А пьяный всегда понимал, честное слово. Беседовал с ним за милую душу… Я ведь тоже старый зимогор. Мне что… Я зимой – по бабам, летом – по шабашкам! А Саша один жил в своей конуре, вот ему и наскучило… Пенсию ему платили пять тысяч рублей. Ну, подумай сам, что сейчас на эти деньги купишь?

– Пять тысяч – это не деньги, – со знаньем дела ответил я.

– Вот! А Кольку Луковку помнишь?

– Помню. Он в прошлом году коньки отбросил.

– Да. Тоже хороший человек был. За друга мог всё отдать… Да ты не смотри на меня так-то, не смотри. Жалеть меня не надо. Я ведь тоже человеком был, в высоких материях разбирался, Эдгара По читал, Марселя Пруста, Лескова. Только приходит время, когда осознать надо, что к чему? Куда человечество движется, куда катится Россия? И какая в этом движении суть?

Леха поднял вверх указательный палец.

– Вот тут-то и подстерегает нас пьянство, потому что ни черта в этой жизни понять невозможно. Ложь кругом и лицемерие, катастрофический хаос… Я только в одно сейчас верю – в Бога. Он не обманет и не предаст, он придет и успокоит. В настоящей религии скрыта великая сила… И поверить в Него просто. Только полюби, только молись, проси прощения – вот и всё. Остальное приходит само собой… Ну, посуди сам, чему я мог детей научить, если сам ничего в этой жизни не понимал? Тому, что в наших книгах написано? Так ведь там всё ложь. Всё – враньё! Всю историю переврали, всю литературу… И продолжаем врать… А ведь, если разобраться, мы, русские, – самые несчастные люди на земле. Самые несвободные, самые дикие. Варвары мы, и культура у нас варварская. Мы все здесь в России постоянно скованы какими-то обстоятельствами. Только и раскрепощаемся, когда выпьем. Лезем друг к другу, чтобы по душам поговорить. А кому наши пьяные разговоры нужны? Вот ты признайся честно, тебе интересно меня слушать? Неинтересно? Вот видишь! Ты на хлебе вырос, я – на лебеде. Нам друг друга не понять… Да и понимать-то ни к чему. От нас с тобой только одно нужно, чтобы мы работали как следует, а рассуждать за нас другие будут. И сети словесные на нас расставят другие, и поймают, и сожрут другие… Они за свои умные рассуждения деньги получают. Это их работа. Такие люди при любой власти нужны. А мы при любой власти только работники, народонаселение – базис для будущего строительства…

Леха, кажется, закончил говорить, с тоской посмотрел в окно, но потом вдруг предложил:

– Хочешь, я тебе ещё стихи почитаю?

– Какие? – не понял я.

– О миазмах нашего общества. Или про войну.

– Читай про войну, – согласился я.

Леха поднялся со стула, сделал губы трубочкой, потом отер их рукавом, потеребил в раздумье рыжие от табака усы и начал декламировать:

Послевоенную пору
Помню совсем неплохо.
Помню, все тянут в гору,
Все наравне с эпохой.
Помню, одну фуфайку
Носим совместно с братом,
Помню, как делим пайку
Мы на столе покатом,
Или поем с соседом

Песни про нашу долю.
Славные в них победы,
Как корабли на море…
После приходит ужин,
В небе луна, как гайка.
Нет, мы живем не хуже:
Снова на блюде пайка.
Я не давлюсь горохом,
Месяц живу немытым.
Пусть на желудке плохо —
Быть бы духовно сытым!

Леха закончил читать, гордо посмотрел на меня, потом на всех присутствующих и не смог скрыть взволнованного достоинства, неожиданно проснувшегося в нём.

– Ну, как? – с дрожью в голосе спросил он.

– Нормально, – ответил я. – Только я не понял, чьи это стихи?

– Сам не знаю, – чистосердечно признался Леха. – Мужик какой-то читал их в Крыму вот так же, по случаю. Я часто раньше отдыхал на юге, когда в «щипачах» ходил. У меня память хорошая. Он прочитал – я запомнил. Тот мужик уверял, что сам стихи сочиняет, а я почему-то не верил ему. С виду он был такой же барыга, как я. Настоящие писатели такими не бывают. А наш брат на чужой стороне всегда норовит прихвастнуть. Я не знаю, что ли. В общем, высокий такой мужик был, вроде тебя, только почернее немного, и волосы у него отдавали сединой… Бабы от него были без ума, я тебе скажу! Так на шею и вешались, так и липли. Может, и правда он был настоящий поэт. Но почему-то в котельной работал кочегаром – это точно. Сам однажды проговорился…

Я ушел из бара только поздно ночью. Леха кинулся было меня провожать, но кто-то его окликнул. Он постоял немного в дверях, потом качнулся назад, поймался за дверной косяк, чтобы удержать равновесие, промычал что-то невнятное и вернулся обратно.

Я был рад, что остался, наконец, один.

А как хорошо мне стало на тихой ночной улице под тёплым летним дождем. С каким наслаждением я подумал о том, что завтра снова отправлюсь в лес на работу, буду целый день наедине с природой и своей усталой душой, с умной и преданной мне собакой по имени Мара. Где никто не пристанет ко мне со своими пьяными речами, никто не испортит настроение напоминанием о чужой смерти.

В лесу

И вот я снова в лесу. День только ещё начинается. Вершины сосен плавно раскачиваются из стороны в сторону. Копошатся под ногами вечно чем-то занятые муравьи, птицы поют. Утренний лес рассечен на яркие полосы света и тени. На свету уже жарко, а в тени ещё прохладно, и от смоляного, пьянящего духа сосновой хвои кружится голова.

Я бодро иду к затопленной талой водой пойме, где стоит моя сеть, тащу с берега новый, ещё не успевший намокнуть ботник, ищу в прошлогодней листве весло. От весеннего разлива воды здесь уже мало чего осталось. Только длинное, заросшее ряской озерцо, где живут караси да щуки.

Ещё с берега я замечаю, что сеть в середине изредка пошевеливается, от неё в разные стороны расходятся широкие круги. Поэтому я тороплюсь доплыть до неё поскорее. Но, подняв над водой ближний конец сети, замечаю, что там отчаянно трепыхается вовсе не рыба, а запутавшийся в сети чирок – небольшая пестрая уточка. Я осторожно выпутываю чирка из сети. Он пытается ущипнуть меня за палец своим плоским игрушечным клювом. Оперение у чирка такое нарядное, такое яркое, что мне какое-то время не хочется расставаться с этим маленьким, невесомым созданием. Наконец, я отпускаю его из рук, он стремительно улетает в небо, издавая в полете свистящий звук и не выказывая мне никакой благодарности за освобождение. Потом над моей головой рядом с освобожденным чирком появляется ещё одна утка, потом ещё. И вот уже три утки делают над озером прощальный круг… Я запрокидываю голову, смотрю на них, и мне кажется, что счастье – это свистящий миг жизни, свободной птицей пролетающий мимо.



Где-то в сумрачной чаще в тот день я потерял свои красивые карманные часы – подарок отца на день рождения. Потеря часов меня сильно огорчила. После обеда я почти не работал, всё ходил меж деревьев, раздвигая папоротник, и внимательно смотрел себе под ноги. Нашел

несколько старых птичьих гнезд, две ржавых банки из-под консервов, какой-то грязный, кривой болт, но часы так и не обнаружил.

Расстроенный, я вернулся к будке, сел на тёплый сосновый пень и постарался успокоиться. Ко мне подошла Мара, легла у ног, положив умную морду на худые лапы. Я посмотрел на неё внимательно, погладил тёплый загривок свободной рукой и пожаловался: «Всё, Мара, больше никуда не пойду. Устал… Мне эти часы всё равно не найти. А ты ничего не понимаешь… Если бы ты понимала – в два счета нашла бы мои часы».

Мара с укором посмотрела на меня, поднялась с лежанки и ушла куда-то, беззаботно помахивая рыжим хвостом. Не было её минут десять. Я успел выпить из походного термоса несколько глотков чая, настоянного на листьях толокнянки и брусничника, разжечь небольшой костерок, чтобы распугать надоедливых комаров, подумать о дочери, которая в этом году должна пойти в школу. И в это время ко мне совершенно буднично вернулась Мара. Но, каково же было мое удивление, когда в зубах у неё я увидел свои карманные часы – мою недавнюю потерю. Честно признаюсь, такого я от Мары не ожидал. Она меня удивила, можно сказать, обескуражила. Скорее всего, сработала какая-то особая собачья интуиция, какое-то странное, никому не ведомое звериное чутье. Да, впрочем, это неважно. Я обнял Мару за шею и от избытка чувств поцеловал в лоб. «Молодчина ты у меня! Умница»!

Вообще-то, я уже давно заметил, что моя Мара – собака необыкновенная. Почему необыкновенная, спросите вы? Да потому, что довольно скоро после её возмужания у Мары появился друг. Это был рыжий пес средних размеров, с поникшими ушами и длинной клочковатой шерстью. Жил он неизвестно где, неизвестно чем питался, но каждое утро непременно провожал нас с Марой на работу и встречал после рабочего дня.

Когда в летних сумерках наша лодка приближалась к берегу, я издали замечал, как рыжий пес начинает радостно носиться вдоль кромки воды и призывно лаять. Потом на приближающийся берег из лодки выпрыгивала Мара, и они вместе убегали от меня к косматой заросли прибрежных кустов, весело подпрыгивая, беззлобно рыча и шутливо наскакивая друг на друга.

Это был странный пес. Он никогда не подходил ко мне близко. Он всегда был какой-то настороженный и подозрительный, и в глазах у него явно сквозило что-то звериное. Этот пес пронзительно громко лаял по ночам, стоя под нашими окнами в саду. Испуганно кидался в сторону, когда я делал вид, что замахиваюсь на него рукой. И в то же время этот пес никогда не давал спуску тем собакам, которые пытались померяться с ним силой. В повадках его было что-то волчье, какая-то дикая отчужденность и затаенная злоба. Он играл только с Марой, только с ней был весел и всюду старался следовать за ней. Однажды он даже переплыл реку и пришел в лес, чтобы быть рядом с ней.

Позднее я узнал, что этот пес появился на свет в Кизерской роще, на старом колхозном скотомогильнике, в норе бродячей собаки, которую вскоре пристрелили местные охотники. Из обречённого выводка каким-то чудом выжил только он. Этим, наверное, и объясняется его странное поведение.

Между тем в лесу уже вовсю царствовало лето. Скатилась с лугов полая вода, река вошла «в трубу», и на полянах появились первые ягоды земляники, похожие на нежные девичьи соски. Осы всё чаще стали залетать в мою будку, подыскивая удобное место для гнезда, сонные шмели с утра до вечера гудели над зарослями цветущего иван-чая. После обеда в лесной чаще становилось душно, хотелось сбегать на озеро искупаться и полежать где-нибудь в тени часок – другой, но надо было работать, надо было добывать живицу, стараясь перевыполнить план, чтобы получить в конце квартала хорошую премию.

С каждым днём в моих мышцах накапливалось всё больше усталости. По ночам я плохо спал, поднимался рано утром с болью в суставах и не мог представить, что так может продолжаться всю жизнь…

Как мне хотелось порой бросить свою тяжелую работу и заняться делом, приятным для души. Забыть о чувстве долга, о бесконечных материальных проблемах. Ведь сейчас я трачу свои силы для того, чтобы моя жена хотя бы раз в месяц могла покупать себе какие-то нужные вещи. Чтобы в нашем доме появлялись новые утюги, тарелки, чашки, занавески, книги, туфли, ковры. Ей невдомек, что в этих вещах, в этих красивых безделушках скрыта часть моей жизни, такой единственной, такой неповторимой и такой для меня дорогой. Мне казалось несправедливым, что я умру, а красивые вещи, купленные женой на деньги, заработанные мной в лесу, еще долго будут жить после меня – за меня. Я не знаю, хорошо это или плохо, но иногда мне кажется, что нужно жить наперекор прихотям жен и желаниям правителей. То есть иметь всего в меру: вещей, прихотей, знаний. Но что такое мера в нашей жизни? Где и при каких обстоятельствах люди смогли ограничить себя в чем-то, если имелась хоть какая-то возможность получить новое, манящее, желанное?

Мера моих желаний – это моя усталость. А какая мера у тех, кто не устает?

Вася Рашпиль

В конце июня на моем участке появился мастер Морозов в пятнистой форме армейского офицера. Он подсчитал обходы на деревьях, посмотрел, сколько живицы натекло в железные приемники за последние дни, и сказал, что пора начинать первый сбор. По всему было видно, что настроение у него хорошее, можно сказать, боевое. Начало сбора живицы для него было тем сигналом, который всегда его бодрил, придавал ему сил и энергии.

На следующий день, продвигаясь по своему участку от низины к будке, расположенной на вершине пологого холма, заросшего беломошником, я увидел между деревьев невысокого сгорбленного человека, в первый момент показавшегося мне стариком. Подойдя к этому человеку поближе, я узнал в нем Васю Рашпиля, который когда-то работал слесарем в колхозной мастерской. Рашпиль стоял возле будки в каком-то очень длинном синем плаще с капюшоном. На ногах у него были огромные болотные сапоги, а голову украшала выцветшая фетровая шляпа с поникшими полями. Когда я приблизился к нему и поздоровался, он улыбнулся мне беззубым ртом и сказал, что будет у меня живицу собирать.

– Я собираю медленно, так что ты тоже не спеши больно-то. Спешить нам с тобой некуда. До зимы ещё далеко.

Говоря это, он посмотрел на меня с легкой иронией, как будто хотел слегка раззадорить. А когда оказался в будке, сел на лавку возле печи и продолжил:

– Я ведь живицу-то никогда не собирал. Так что ты сначала покажи мне, как это делается, а потом уж я сам как-нибудь справлюсь. Говорят, она полезная, живица-то. От кишок помогает и от желудка. Я работать начну – испробую, выпью пару приемников.

Он быстрым движением снял шляпу, из-под которой выпали длинные седые волосы, и положил ее рядом с собой на лавку. Потом, как будто вспомнив о чем-то, поднял на меня свои светлые глаза и пожаловался:

– У меня в последнее время ноги плохо ходят, хотя здоровье ещё есть. Есть еще здоровье, только хреновое… Надсадил я ноги-то на ручной трелевке, когда мне десятку дали за убийство. У нас там, в Томских лагерях, на ручной трелевке шло год за полтора. Вот я и рвал жилы. Все хотел домой поскорее попасть.

– А убили кого? За что убили? – неуверенным голосом поинтересовался я.

– Так за что убивают? За деньги, конечно… Пили вместе в бараке у одного барыги, а я перед этим отпускные получил и зарплату ещё за прошлый месяц. А утром встал – в карманах ни копья. Вот и убил. Он, конечно, говорил, что не брал, но кто же ещё возьмет? Я в ту пору был худой, как палка. Всю войну мы с матерью прожили на лебеде, потом я в ФЗО учился на тракториста, а после учебы на лесозаготовки попал. Можно сказать, жизни не видел. А тут первые приличные деньги получил и – на тебе! Снова гол, как сокол. Обидно стало. Этот барыга, который у меня все деньги-то упер, нигде никогда не работал. Жил там, на поселке, с какой-то бабой и каждый день пьяный ходил. Вот и вскипело у меня. Топор под руку подвернулся. А потом – я толком ничего не помню. Опомнился, когда меня менты скрутили.

Собирая живицу, Вася ещё не раз напоминал мне о своих больных ногах. За три дня кое-как он набивал живицей одну двухсотлитровую бочку, потом подолгу сидел где-нибудь в тени возле нее и вздыхал, говоря, что в такую жару даже зеки не работают. Я не раз предлагал ему сменить громадные болотные сапоги на что-нибудь более легкое, после чего он смотрел на меня удивленно и спрашивал:

– Да как же в лесу без сапог? А если змея выползет? Я с детства змей боюсь. Нет, я по лесу привык в сапогах ходить. Так безопаснее.

Вася то и дело оставался в лесу ночевать. Бродил по окрестным озерам в вечерней тьме, ставил сети, собирал какие-то ягоды.

Раздосадованный его рассказами о лагерной жизни, однажды я попробовал перевести разговор в новое русло. Узнать у Васи, как он прожил свою молодость. Был ли женат? Есть ли у него дети? Какое-то внутреннее чутье подсказывало мне, что этот его рассказ может оказаться интереснее предыдущих. Но он явно не хотел откровенничать со мной. Только однажды, как-то вдруг, огорченно признался:

– Не понимаю я этих баб. Что им от нас, от мужиков, надо? Все они до свадьбы ходят фифами, пытаются книжки читать, о кинофильмах беседовать, о культуре. А как только замуж выскочат, так сразу обо всем забывают. Жрут, как поросята, толстеют на глазах и по дому ходят растрепанные, как ведьмы. Совсем за собой не следят… И после этого почему-то хотят, чтобы мы их любили, как прежде… А за что их любить-то? За какие шиши?..

Вася многозначительно развел руками.

– А ещё им непременно надо хозяйство завести: кур, корову, овец, поросят. Чтобы всё, как у людей. И чтобы всем этим хозяйством мужик каждый день правил с утра до вечера. Так, видите ли, в деревне заведено…

Вася с усмешкой сплюнул.

– И мне в свое время такая же баба досталась. Только я уже через месяц у неё спросил: «Ты мне скажи, дорогуша, тебе мужик нужен или конь в упряжи? Муж или дворовый работник? Ты уж как-нибудь определись».

– И она определилась? – спросил я с веселой заинтересованностью.

– Определилась. Выгнала меня к чертовой бабушке… Ха-ха-ха! Но я об этом никогда не жалел, честное слово. Потом у меня этих баб было – хоть пруд пруди. А что? Я не мужик что ли? У меня пока что всё на месте… Ведь бабы, они как рассуждают: «Если я с этим оболтусом сплю, кормлю его, убираю за ним, обстирываю его, паразита, – значит, он мне за все это чем-то заплатить должен». А чем еще в деревне заплатить, кроме работы по хозяйству? Вот и пашут бедные мужики в деревне в две смены. Дома и на работе. Дома и на работе… А я своей головой так рассуждаю. Если я на производстве восемь часов отпахал, как следует, если деньги домой принес и жене их отдал, не пропил, не промотал, то ты на меня новых забот не навешивай, новых занятий мне не ищи… Так ведь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.